ПТИЦА СЧАСТЬЯ ВЫБРАЛА ДРУГИХ

"Без меня народ не полный". Эти слова Андрея Платонова может отнести к себе каждый гражданин. Но каждый ли имеет право сказать: без меня не полна история Отечества? Об этом думала я, направляясь к Арону Алтеровичу Вергелису — поэту, писателю, редактору журнала, общественному деятелю, которого, как это у нас порой бывает, в Париже или Нью-Йорке знают получше, чем в Рязани или Омске. А не худо, если бы знали. Тем более что для этого есть повод: Вергелису исполнилось 80 лет.

— Как-то я прочла у вас: "Прожитое время — это улетевшая птица". Этот грустный вывод не вяжется ни с вашим активным характером, ни с вашей работой, которая, наоборот, как бы возвращает в гнезда-страницы этих самых птиц времени...

— Да, это из книги "Вечная слава и мраморная пыль". Я писал тогда, что у времени есть только два измерения: прошлое и настоящее. Придет завтрашний день, но это — уже сегодня. Вот день сегодняшний. Но постойте — он уже вчерашний... Летит время, но остается в памяти, в строчках, в книгах...

— А вот эта книга с устрашающим названием "Смертная казнь", что лежит на журнальном столике, — тоже слепок с прошлого?

— Утром ее принесли из типографии. Пока только два экземпляра. Говорят, торопились успеть ко дню рождения. Это повесть о выдающемся поэте и великом мученике Переце Маркише. Его расстреляли в августе 1952 года. Убрали по приказу Сталина вслед за разгромом антифашистского еврейского комитета и убийством известного актера и режиссера Соломона Михоэлса. Мне выпала честь знать Маркиша и работать рядом с ним.

— И какие же воспоминания возникают у вас, когда вы берете в руки эту свою новую книгу?

— Если бы перо могло скользить по бумаге со скоростью воспоминаний, получилась бы еще одна повесть. Вспоминается, например, такое. 1936 год. Транссибирская магистраль. Вагон скорого поезда. В одном купе — Перец Маркиш и один из авторов нашумевших "Двенадцати стульев" и "Золотого теленка" Евгений Петров. Они везут в Москву ворох впечатлений и — меня, смешного рыжего паренька, которого повстречали в одном из поселков на берегу реки Биры. Они решили, что этот, по их выражению, "таежный медвежонок" обязательно должен поступать в Москве в литературный институт...

— И он, насколько я знаю, поступил на литературный факультет Московского пединститута и, закончив его, был в свои 22 года принят в Союз писателей СССР, не так ли? Это было в предвоенном сороковом. А где вы "нашли" войну?

— Это она меня нашла. На военных сборах — на западной границе. У меня есть стихотворение, которое называется: "22 июня, 4 часа 10 минут".

Помню такой случай. Ранняя осень 41-го. Наша летная часть стоит под Ельней. Только что закончился бой. Меня контузило, засыпало землей. Представьте, каково мне было, если я не почувствовал, что с меня, как с убитого, стянули сапоги. Но, когда наши ястребки прижали и посадили немецкий самолет, я уже был на ногах. Взяли пленного. "Кто знает немецкий?" — спросил старший лейтенант. Я вызвался переводить. Мы стояли друг против друга — гитлеровец и я. Он холеный, сытый. В кармане мундира торчит шоколадка. На ногах — хромовые сапоги. А я — в обмотках, почти босой, в облепленном глиной и землей комбинезоне. После допроса, ближе к ночи, нашел удобное место с подветренной стороны у лафета и заснул. Вдруг слышу, кто-то, примостившись рядом, осторожно подтянул к себе край моей плащ-палатки. "Извините, — говорит, — прилег ненадолго, да холодно — замерз". — "Вы кто? — спрашиваю. — Откуда?" — "Валентин Катаев, корреспондент "Красной звезды".

Мы проговорили всю ночь. А потом в "Огоньке" появился очерк о младшем сержанте Вергелисе и пленном фрице. Только немец в этом очерке был разнуздан, неряшлив и пьян, а я опрятен, подтянут и по форме одет, как и подобает младшему командиру Красной Армии.

...Пройдет много лет, и Женечка Катаева, моя жена, скажет мне: "Знаешь, в 8-м томе папиного собрания сочинений я нашла очерк о тебе".

— Интересно, а за свадебным столом вы с Катаевым вспоминали ту свою встречу под Ельней?

— Об этом мы не говорили, но я помню, как Валентин Петрович тогда пошутил: "Вы знаете, это Евгений (он имел в виду своего родного брата — Евгения Петрова) нашел в тайге и привез для моей Женечки будущего мужа".

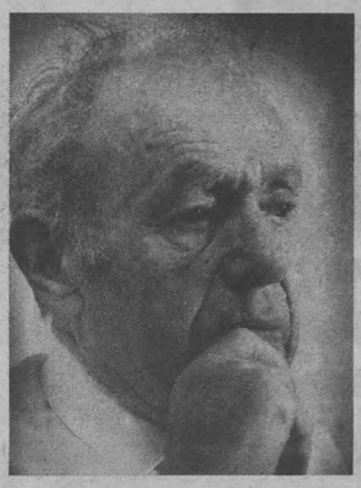
— Какие сюжеты подбрасывает жизнь...

— Что и говорить. А вот первые послевоенные годы подбросили совсем иные сюжеты. Для таких, как я, то время было похлеще, чем в годы войны. В войну я был парашютистом, разведчиком, дважды ранен, едва выжил. А после войны стал изгоем, космополитом. Меня исключили из Союза писателей, передо мной закрылись двери всех редакций... Более того, недавно в архивах обнаружили список "представленных" к высшей мере. В этом списке — композитор Покрасс, писатели Эренбург, Маршак и Вергелис. Не успели...

— Перемены пришли с хрущевской "оттепелью"?

— Был конец 50-х. Начинались шестидесятые. Из лагерей возвращались деятели культуры. В их числе были и литераторы, пишущие на идиш. Им негде было работать, негде печататься. Я написал письмо Хрущеву и приложил к своему посланию полный перечень стран и количество изданий в них на еврейском языке. Где-то больше, где-то меньше, только против СССР — ни одного. Сам отнес письмо на Старую площадь — в ЦК. Через неделю меня вызвал главный идеолог страны Михаил Суслов. Мы разговаривали стоя. При этом он как-то странно раскачивался с пятки на носок. Бросились в глаза ботинки — старомодные, на шнурках, и калоши под вешалкой у входа в кабинет. Разговор был коротким: "Обговорите с Ильичевым детали и делайте журнал", — заключил он. Еще через день в помещении "Литературной газеты", почему-то на дверях лифта появилась табличка: "Журнал "Советиш Геймланд" ("Советская Родина").

— Вам часто приходилось сталкиваться с функционерами подобного ранга?



— Не так уж часто. Но этим вопросом вы напомнили мне об аудиенции у министра культуры Екатерины Фурцевой. Свою "речь" в ее кабинете я начал так: "Гений просит визу в нашу страну — к себе на родину, а ни один из ваших подчиненных палец о палец не ударил, чтобы ее оформить".

— Кто этот гений?

— Сейчас поймете.

...Небольшой средиземноморский городок на юге Франции. Семь часов утра. Я поднимаюсь по взгорью к ажурной решетке очень красивого особняка. Пожилой садовник в клетчатой рубахе на выпуск окапывает газон. "Будьте добры, подойдите ко мне", — обратился я, исчерпав почти весь свой запас французских слов. "А кто вам нужен?" — спросил он. "Художник Марк Шагал". — "Я и есть Шагал. Меня предупредили, что вы приедете утренним поездом".

Вместе с женой Валентиной он повел меня в сад и показал любимую свою березку. Художник очень тревожился, что деревце, напоминающее ему о Родине, не проживет без привычного для него снега и мороза. Но жена так бережно и нежно ухаживала за саженцем, что березка прижилась. За обедом хозяин поинтересовался: "Вы когда-нибудь бульбу белорусскую пробовали? Мне аж из самого Витебска ее привезли". С острой, не пригашенной временем тоской художник вспоминал родной город, в подробностях описывал лавчонки, дома, улицы, среди которых рос и которым обеспечил бессмертие на своих полотнах. Прощаясь, Марк Шагал произнес: "Вы там у себя скажите властям: я очень хочу увидеть Витебск..." В его глазах засветились слезы...

— Но давайте вернемся к вашей литературной работе. Кроме книг, у вас есть еще любимое дитя — журнал, который вы пробивали с таким трудом и которому дали столь долгую жизнь...

— Помните, мемориал в сожженной фашистами белорусской Хатыни? Высокий старик с ребенком на руках, который должен спасти и сохранить то, что удалось вынести из огня войны, из огня времени, из огня такой трудной жизни. Примерно так я представляю себе миссию нашего журнала: сохранить то, что было оставлено расстрелянными писателями — Маркишем, Бергельсоном, Квитко. Сохранить язык Шолом Алейхема, язык тех двухсот тысяч, что полегли на полях войны вместе с миллионами русских, украинцев, белорусов, людей других национальностей. И тех шести миллионов, которые навек умолкли, сожженные в печах и погребенные, часто заживо, в ямах. Язык, на котором говорила моя мать.

В 1941 году мама вместе с моей сестрой приехала на родину — в украинское село Любар. Фашисты расстреляли здесь всех, до одного. Ставили к краю ямы. Когда она наполнялась, засыпали землей... Об этом мне сообщили на фронт. В день, когда я прочитал это письмо, я был дежурным по части. Смотрю — через мосток ведут пленного. И, видимо, горе помрачило мой рассудок — я выхватил из кобуры пистолет и застрелил его. Легче не стало, только чуть не загремел в штрафной батальон. И эту чужую смерть мне тоже тяжело вспоминать.

— А помните, какие потрясающие слова прозвучали на этот раз в День Победы перед тем, как наступила минута молчания? "Простим друг друга".

— Конечно, помню. И, кстати, вот вам еще один сюжет, "подброшенный жизнью". Открывается дверь. Входит пожилой человек, с виду — иностранец. "Вы Вергелис?" — спрашивает по-русски. — "Да". "Не удивляйтесь, — продолжает он, — но я — бывший солдат войск СС. Нет, не подумайте — в акциях уничтожения я не участвовал, евреев не убивал. Тем не менее ощущаю потребность хоть чем-то искупить то, что совершили в то время мои соотечественники. Я перевел на немецкий 50 ваших стихотворений, — и передает мне рукопись. — Книгу издадут в Лейпциге, и я пришлю вам ее. Сейчас оказался в Москве и вот решил найти вас и рассказать об этом". Вот ведь как бывает...

Простим друг друга... Если это станет для каждого этической нормой, человечество может быть спокойно за свое будущее.

Беседу вела
Ада ДИХТЯРЬ.
Фото Александра ИЗОТОВА.